

Анне Провост

# Падение

Перевод с нидерландского **Ирины Лейченко**

Москва Самокат

УДК 821.112.5-343.4-93

ББК 84(4Нид)-442

П78

Серия «Встречное движение»

**Провост, Анне.**

Падение : [для старшего шк. возраста] / Анне Провост ; пер. с нидерл. Ирины Лейченко. — М. : Самокат, 2020. — 368 с. — (Встречное движение). — ISBN 978-5-00167-024-7.

Шестнадцатилетний Лукас каждое лето проводит с матерью в доме деда. Теперь дед умер, но о его прошлом все вокруг врут или недоговаривают. Лукас, чувствуя, что «увяз в чем-то непонятном», пытается обрести опору в дружбе с Бенуа — ультраправым радикалом и демагогом. У Бенуа есть четкие ответы на все вопросы, и он поверяет свои расистские идеи практикой.

Анне Провост живет в Бельгии и пишет на фламандском языке, она автор романов, рассказов и эссе, которые переведены на двадцать два языка и удостоены множества престижных премий — национальных и международных. У ее книг обычно юные герои и непростые темы.

Роман о первой любви «Падение» вышел в 1994 году и сразу стал бестселлером, получил десяток европейских литературных премий и до сих пор входит в школьную программу в Бельгии и Нидерландах. Книга трижды адаптирована для театра и в 2001-м экранизирована. И вот — первый перевод на русский.

Vallen © 1994 by Anne Provoost

Originally published by Uitgeverij Houtekiet, Antwerp

© Ирина Лейченко, перевод, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом «Самокат», 2020

ISBN 978-5-00167-024-7

П78

**К**ОГДА Кейтлин подвозят к дому, я стою у дороги. Никто не сообщал мне, когда ее выпишут из больницы, но у меня предчувствие, и я болтаюсь тут уже целое утро. Слоняюсь туда-сюда, обрываю едва зажившими пальцами пожухлые головки гераней на подоконниках, скатываю подошвами зазеленевшие после дождя травинки в бурые колбаски. Из-за густой завесы облаков кажется, что заросший плетистыми розами дом и монастырь ниже по склону холма накрыты огромным брезентовым навесом. В глаза бросаются открытые ставни. Все лето они оставались запертыми, не впуская солнечных лучей. Теперь влажный воздух свободно врывается внутрь.

Я стою спиной к нашему дому и из-за ветра и шелеста листьев слышу скорую, лишь когда она выезжает из-за поворота. Машина медленно взбирается по склону, мотор низко урчит на второй скорости, и я могу не спеша заглянуть в окна. Кейтлин не лежит сзади на носилках, как три недели назад, когда ее увозили под вой сирен. Она сидит справа от водителя, уверенно глядя перед собой, словно разъезжать на скорой помощи для нее привычное дело. («Не понять мне тебя», — как-то признался я. Она обернулась ко мне: «Когда все время переезжаешь, уже не заводишь новых друзей».)

Водитель осторожно поворачивает. Я слежу за машиной не только глазами, но всем телом: медленно оборачиваюсь вокруг своей оси, свесив руки по бокам, вытягиваю подбородок. Неожиданно я встречаюсь с Кейтлин взглядом. Мне хочется кивнуть, подмигнуть ей, крикнуть что-нибудь, но я словно окаменел. Она смотрит на меня, как смотрят из окна проезжающей машины на дом или на незнакомого прохожего, до которого тебе нет никакого дела. Вид у нее самый обычный, ничего особенного, если не считать желтизны лица. Кейтлин сидит прямо и тянет шею, как цапля перед взлетом. Я знаю ее словечки, жесты, гримасы. Представляю, как она смотрит на что-то, потом, моргнув, оборачивается и переспрашивает: «Что ты сказал?» Она сидит в машине, как самая обычная девчонка: девчонка, которая съезжает со склона на велосипеде и забирается обратно пешком, девчонка, которая в жаркий день залезает по колено в пруд и внезапно с визгом плюхается в воду, девчонка, которая без маминого разрешения садится за руль, чтобы прокатиться среди холмов, и вопит: «Черт, тормоза заело!»

Наши взгляды на полсекунды пересекаются, и я тут же отвожу глаза куда-то вдаль, а Кейтлин — на дорогу, но кажется, это длится не полсекунды, а вечность.

Я вдруг ясно вижу себя со стороны — как стою тут, в джинсах, в кроссовках на босу ногу, вытянув шею, чтобы получше рассмотреть Кейтлин. Ладони у меня кое-где еще перевязаны. Я тру их, чтобы почувствовать боль, но раны подсохли и почти зажили, разве что кожа вокруг ногтей онемела, а новая, наоборот, чересчур чувствительна. Внезапно я понимаю, зачем стою здесь: хочу показать, что мне не стыдно за случившееся.

Белый автомобиль исчезает за деревьями, и я иду в дом. Мать переносит садовые стулья под навес и накрывает сиденья полиэтиленом; я ничего не говорю ей. Вхожу с тыльной стороны дома и поднимаюсь по лестнице в спальню, которая раньше принадлежала деду. Прикрываю дверь, а услышав шаги матери, поворачиваю ключ в замке. Посреди комнаты стоят два чемодана — я собрал их еще утром. Переставляю их к стене. Пытаюсь бесшумно пододвинуть письменный стол к слуховому окну, но это дело непростое: половицы неровные, а стол тяжеленный. Его ножки скрипят и царапают пол. Залезаю на стол и сквозь прорехи в листве смотрю на монастырский двор.

Как раз вовремя. Скорая въезжает во двор, сбавляет скорость и останавливается. Водитель выходит, почти выпрыгивает из кабины, словно демонстрируя, что он в отличной форме. Едва ли не вприпрыжку огибает машину и открывает дверь со стороны Кейтлин. Сначала он достает два серых костыля и прислоняет их к открытой дверце. Затем подставляет левую руку. На его белом рукаве появляется рука Кейтлин — и волосы у меня на затылке встают дыбом. Как будто она дотронулась до моей руки. Ладони у нее всегда прохладные и не потные, словно из-под струй ледяной воды; я брал ее за руку почти каждый день, когда мы спускались по пастушьей тропе в нижний город и перелезали через утес Шаллон, чтобы срезать путь.

Водитель помогает Кейтлин выйти. Она с трудом выбирается из машины. Вроде бы ничего необычного, и пару секунд я верю, что все чудом закончилось хорошо. Но тут Кейтлин оборачивается и, чуть откинув голову, замирает. Она, конечно, знает, что я залез на стол и слежу за ней. Выражения ее лица мне не разглядеть — она слишком далеко. Начинает моросить. В монастырский двор, словно по ошибке, залетает стая голубей, и птицы вразнобой приземляются в нескольких метрах от нее. Кейтлин берет по костылю в руку и чуть расставляет ноги. И я вижу: левой ступни у нее нет.

— **Л**УКАС! — зовет мать снизу.

— Да? — отзываюсь я, не двигаясь с места.

Кейтлин все еще смотрит на меня, пока ее спутник достает из машины вещи. Он вытаскивает голубую спортивную сумку в полоску, хочет поставить ее на землю, но, засомневавшись, перекидывается с Кейтлин парой слов и перебрасывает ремень через плечо. Потом снова ныряет в машину и достает два букета цветов.

— Я знаю, что ты там делаешь! — кричит мать.

Слышно, как она поднимается по лестнице. Я мягко, по-кошачьи, спрыгиваю со стола, с трудом приподнимаю его и, стараясь не задеть пол, переносу на место. На столе лежат два толстых романа — дед, судя по всему, читал их долгие недели перед смертью. Книги сдвинулись с места, я поправляю их. И прежде чем мать окажется у двери, поворачиваю ключ.

Мать заходит, руки у нее мокрые от залитых дождем стульев. Она быстро оглядывает комнату и улыбается.

— Я была готова поклясться, что ты стоял на столе, — говорит она.

Садится на край незаправленной постели, вытирает руки о рубашку и вынимает из нагрудного кармана пачку сигарет.

— Говорят, Кейтлин скоро отпустят домой, — она щелкает зажигалкой и кивает в сторону слухового окна. — Хорошо, что мы уезжаем. В нижнем городе по-прежнему языками чешут. До чего ж осточертел мне этот городишко! Может, к следующему лету все наконец забудется.

Я молчу. Сейчас я не способен произнести ни слова: перед глазами стоит ампутированная нога. А ведь я три недели отказывался ее представлять.

В голове поднимается странный шум. Как будто заиграл оркестр китайских колокольчиков. Их звук переходит в какое-то гудение. Я опускаюсь на стул, чтобы приглушить его.

— Ты уже упаковался? — мать кивает на чемоданы и, не дожидаясь ответа, продолжает: — Я осмотрела все шкафы. Ничего нашего здесь больше нет. Купальник я оставлю, дома он мне все равно не нужен. Но странно: в чемоданах вроде бы стало больше места. При этом я практически ничего здесь не оставляю. Наоборот, кое-что возьму с собой. Те вещи, что мне всегда хотелось забрать, а он ни за что бы не отдал. — Мать по-детски сосет сигарету. — Хорошо бы уехать сегодня вечером. Последний поезд в двадцать минут восьмого.

Гудение у меня в голове эхом отзывается среди холмов. Где-то там валят дерево и распиливают его на дрова. Я не отвечаю, и мать наклоняется ко мне — почти касается лицом моего уха. Она так близко, что я вижу стык сигаретной бумаги и фильтра.

— Как раз успеешь попрощаться с Кейтлин. У меня есть горшок с бегониями, они тут все равно засохнут. Снаружи, на подоконнике. Скажи, что это от меня.

— Я вчера ее навещал, — быстро говорю я.

Доносящийся с холмов вой цепных пил действует на меня странно: я слышу его и по ночам, как молодая мать слышит плач младенца, даже когда он давно заснул.

— Мы попрощались.

Мать смотрит на меня так, будто прекрасно понимает, что я вру. Из ее ноздрей вырываются клубы сигаретного дыма. Пепел она подхватывает свободной рукой.

— И поторопись, — добавляет она, будто не расслышала моего ответа. — Ты еще успеешь застать Кейтлин в больнице. Когда она вернется домой, сестра Беата тебя не пустит, и все дела. Ты же ее знаешь. После случившегося она и Коперника перестала пускать.

Коперник — старый дедов кот, который всегда лежит у заднего крыльца, даже когда дом пустует. У него длинные, до земли, усы, и сдвинуть его с места примерно так же просто, как горную цепь. К счастью, его независимость и упрямство растопили сердце монахини, и она смотрела сквозь пальцы на то, что Коперник каждый вечер ест из мисок, которые она выставляет в саду для своих кошек. Но спустя неделю после случившегося Коперник очень похудел, а однажды мы увидели, как сестра Беата кидает в него камешки, прогоняя из монастырского сада. С тех пор мы покупали ему кошачий корм в супермаркете.

Мать встает. Матрас набит старой шерстью, которая не пружинит и при каждом движении испускает запах зимних комнат.

— А то Кейтлин того и гляди подумает, что ты больше не хочешь ее видеть, — добавляет она полупшепотом.

В голове у меня стоит такой вой, что я не решаюсь разжать губы. Я киваю, но даже от этого мне больно. Мать уходит, а я еще несколько минут пялюсь на сигаретный дым, зависший под слуховым окном.

**МАТЬ** ЗНАЕТ не хуже моего: я не могу навестить Кейтлин. И все-таки она уже который день посылает меня в нижний город, где больница, — то со своим ореховым печеньем, то с букетом цветов из нашего сада.

Каждый раз я заворачивал подарки, спускался по пастушьей тропе и шел до утеса Шаллон. Там я просиживал на камне до самого вечера, прокручивая в мыслях кадры этого лета, — под неизменный аккомпанемент цепных пил. Вокруг обычно стелился туман, порой шел дождь. К вечеру я возвращался домой с пустыми руками. Материны подарки валялись далеко внизу под утесом.

На этот раз я чувствую себя увереннее. Зная, что Кейтлин уже дома, я перевязываю ленточкой горшок с бегониями и спускаюсь по пастушьей тропе. Я собираюсь задать докторам и медсестрам вопрос, который не дает мне покоя три недели; мне нужно знать ответ. С утеса я сползаю медленней обычного, потому что руки заняты, и шагаю дальше по извилистой дороге.

Похоже, с того дня, как я побывал в нижнем городе в последний раз (когда ходил в полицейский участок), все изменилось. Опавшие листья достают до щиколоток, резко пахнут ягоды на кустах. На плоскогорье под кипарисами валяются камни, скатившиеся сверху. Обычно здесь жужжат рои комаров, но сейчас их сменили одинокие осы — слетелись на запах гниющих плодов. Я ступаю осторожно. Кейтлин всегда оказывалась внизу первой: она любила скорость и грохот катящихся камней под ногами. («Почему ты всегда так несешься?» — спросил я как-то. «Потому что я всегда должна быть первой», — последовал ответ.)

Дорога кажется короче, но опасней прежнего. Самое трудное ждет в конце. Нужно пройти через сад месье Оршампа, причем незаметно, иначе придется взбираться обратно в гору, убегая от размахивающего тростью хозяина с собакой. Лучше всего спрятаться за компостной кучей и убедиться, что путь свободен: Оршамп дома, собака чем-то занята, машин на улице нет. Я скрючиваюсь позади кучи, зажав ногами горшок с бегониями, и вспоминаю все те разы, что мы сидели здесь с Кейтлин. Из-за вони мы всегда старались убраться отсюда поскорее. Добегали до улицы по клубничным грядкам, прыгали через придорожные клумбы на тротуар и шли дальше, стараясь не выделяться, словно влюбленная парочка.

Вонь невыносима и сегодня. Месье Оршампа нигде не видно, на дороге пусто, но я будто оцепенел. Сижу за компостной кучей и жду. С меня льет пот. На улице я решаюсь выйти минут через десять, не раньше.

Вжав голову в плечи, я иду по улицам нижнего города. Мимо меня спешат домохозяйки с корзинками и сумками, мужчины со стремянками и с мешками, усатые и в очках, дети в колясках и на велосипедах. Я жмусь к домам. Возле литейной мастерской мне мерещится, что кто-то окликнул меня по имени, но я изображаю глубокую задумчивость и не оборачиваюсь. Я делаю двухкилометровый крюк, чтобы не показываться в Сёркль-Менье, где в многоквартирных развалах живут арабы и где меня точно узнают.

Вот и вход в больницу. Стекланные створки автоматически раздвигаются перед посетителями, но мне кажется, они сейчас захлопнутся прямо у меня перед носом. Глазок вовремя замечает меня. Я захожу внутрь и шаркаю по белому мраморному полу, словно конькобежец, не уверенный в прочности льда. Это место мне знакомо: здесь несколько долгих недель лежал дед, прежде чем его отпустили домой умирать. Тут прохладно, повсюду стоят горшки с растениями. Но сегодня больница другая: это нора, в которую забилась Кейтлин, как раненый кролик. Ее навещали все, кроме меня. Она часами разговаривала с

посетителями и наверняка рассказывала им все подробности. Все знают всё — и только я ничего.

Женщина за регистрационной стойкой скользит по мне взглядом и тут же возвращается к клавиатуре компьютера. Я молчу.

— Фамилия? — нетерпеливо спрашивает она.

— Лукас Бень, — отвечаю я быстро и чуть испуганно.

Она нажимает пару клавиш и, нахмурившись, изучает появившийся на экране список.

— Такого нет, — говорит она отрывисто. — И даже не было. Может, тебе в родильное отделение? Лукас — новорожденный?

— Нет.

Я жадно хватаю ртом воздух и оглядываюсь. Вокруг группками стоят посетители с цветами в руках. Знакомых среди них я не вижу, но уверен, что многие обо всем читали. Поскольку делать им нечего, кроме как ждать, пока я отойду в сторону, они пялятся на меня. Я засовываю руки в карманы, чтобы спрятать бинты.

— Может, Медоуз? — говорю я так тихо, что приходится повторить. Звук «д» глухо отскакивает от моего пересохшего нёба.

— Кейтлин Роуз? — уточняет она, не поднимая глаз.

Ко мне поворачиваются еще несколько голов. Я переступаю с ноги на ногу и наклоняюсь к стойке, делая вид, что меня чрезвычайно интересует буклет с тарифами на здешние палаты. Регистраторша постукивает ручкой по экрану.

— Ты не в курсе последних новостей. Мадемуазель Медоуз уехала сегодня утром. Ее отпустили на выходные.

— Вот как! — изображаю я удивление. — Уехала? В каком же отделении она лежала?

Я пытаюсь разглядеть номер ее палаты, но шрифт слишком мелкий.

— В ортопедии, на третьем этаже, но сейчас ее там нет, это точно.

Я благодарю регистраторшу, но она уже не слышит меня, а смотрит на стоявшего за мной.

— Фамилия? — спрашивает она.

Я поворачиваюсь и иду к лифту в конце коридора.

В лифте я чувствую собственный запах. Металлические двери причудливо искажают отражение. В длинном коридоре за открывшимися дверями пусто. И все же повсюду ощущается чье-то присутствие. Двери палат распахнуты, из многих доносится бормотание телевизора. Прохожу и мельком замечаю обращенные ко мне лица; чаще это пожилые люди, кожа у них бледная, точно свет, пробивающийся сквозь тонкие занавески, но есть и пара девушек — ровесниц Кейтлин, с длинными черными волосами и глубоко посаженными глазами.

За спиной слышится скрип — это в коридор выворачивает тележка. Деревянные сабо медсестры, которая ее катит, клацают по шахматной плитке, и с каждым шагом десятки пузырьков стучатся друг о дружку. Она вот-вот войдет в одну из палат, и я машу рукой.

— Кейтлин Медоуз? — подхожу я к ней.

Лицо у медсестры странного цвета, веки и лоб покрасневшие, словно ей постепенно передаются болезни ее подопечных. Форма надета на голое тело.

— Ее отпустили на выходные.

— Вы за ней ухаживали?

— А ты кто такой? Кавалер, что ли?

— Двоюродный брат, — находчиво вру я. — Я только с каникул вернулся. Думал ее здесь найти.

— Она уехала утром.

— Как она себя чувствует? — Я преграждаю медсестре путь и тут же, осознав свою навязчивость, делаю шаг назад. — Ей очень больно?

— Ох! — вздыхает медсестра. — Ей выписали обезболивающее. Но дело не в боли.

Она сортирует пузырьки на тележке по цвету крышечек.

Я киваю, словно знаю обо всем не понаслышке.

— Дело, конечно, в шоке, — говорю я с понимающим видом.

— Кейтлин знает, что жаловаться ей грех. Она могла погибнуть.

— Она могла погибнуть, — повторяю я.

Из палаты выходит другая медсестра. Она повыше ростом, форма на ней не белая, а голубая. Волосы стянуты в узел на затылке, на ногах такие же сабо, как у первой, в руках небольшой поднос. Она подходит к нам. Поначалу она вроде бы не замечает меня, но потом глядит мне прямо в глаза и спрашивает:

— А ты разве не тот парень, что?..

Первая медсестра, в белом, смотрит на меня так, будто ветер внезапно переменялся, и вот она меня учуяла.

— Точно! — восклицает она. — Я твою фотографию в газете видела. Никакой ты не двоюродный брат! Ты ее парень... Лукас Бень, верно?

Она хватая меня за руку и жмет ее.

— Ее, конечно, мучают фантомные боли, — сообщает она почти шепотом, словно в этом есть что-то неприличное. — Знаешь, когда ноги больше нет, но постоянная боль в суставах. Это все перерезанные нервы. Они продолжают передавать сигналы в мозг, а мозг-то, понятное дело, не знает, что ступня... отпилена, — на последнем слове она спотыкается.

Высокая медсестра опускает глаза, но тут же словно вспоминает что-то важное:

— Вообще-то ты пораньше должен был прийти, я считаю. Сколько прошло времени? Недели три-четыре?

Белая кивает. Внезапно они начинают говорить быстро и наперебой, их голоса становятся все пронзительнее.

— Она без конца у всех спрашивала, как именно это произошло.

— Все, что она про тебя знала, она узнала из газет. Она так часто о тебе спрашивала!

— Полицейские — те тоже рассказали ей только факты, официальную версию, но Кейтлин, понятное дело, хотелось большего.

— Она тебе не звонила? Она каждое утро собиралась тебе позвонить, но, когда давали линию, говорила, что уже не нужно.

— У нее в голове вообще была каша. Когда пришли из пожарной инспекции и сообщили, что тебя хотят наградить, она целый день ничего не ела.

Слушать их выше моих сил. Их голоса эхом отскакивают от кафельных стен, слов не разобрать. Вдобавок у меня в ушах снова что-то воет. Я заглядываю в палату: все понятно — там крутят боевик, Шварценеггер с ревущим мотором несется по дрожащему асфальту. В кадре то его сжатые челюсти, то ступня на педали газа. Мне ведь нужно задать один вопрос, вспоминаю я.

— А ступня? — спрашиваю, дождавшись паузы. — Ее левая ступня? Что с ней сделали?

Они так таращатся, будто у меня из носа свисает какая-то пакость.

Первой дар речи обретает медсестра в голубом.

— Ну что делают с подобными вещами? Если это не обычная ампутация, а авария или что-то в этом роде — передают в полицию на расследование. А потом сжигают.

— В больничной печи. Как и пробы крови, тканей и всякое такое, — добавляет белая.

— Сжигают?! — вскрикиваю я.

И тут же понимаю, что кричать здесь не полагается. Но немудрено, что я не сдержался. Ее ступню бросили в огонь! А я ведь сделал все, чтобы нога не загорелась!

Разговор длится недолго. Больные нуждаются в уходе, а после смены медсестрам нужно спешить домой, к семье. Они еще раз напоминают, что Кейтлин часто обо мне спрашивала, и берут с меня обещание, что я навещу ее и расскажу, как все было.

Всю дорогу домой я мысленно разговариваю с Кейтлин. Я пытаюсь вспомнить, как все началось. А для этого придется вернуться назад, в прошлую зиму.